

МИСТИКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА



Зоя //Терра, 2002

ISBN: 5-300-02855-X

FB2: Алексей Н. "rusec" <lib_at_rus.ec >, 30.07.2008, version 1.1

UUID: Tue Jun 11 17:44:31 2013

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Александр Амфитеатров

Зоя

Александр Амфитеатров

Зоэ

Зачем ты снова явилась мне в эту ночь — тяжкую и долгую, как дорога в ад, когда, спотыкаясь под ношей воспоминания, бредет по ней обреченная мукам душа? Чем дальше ведет ее грозный путь, тем мельче становятся образы оставшейся позади жизни, тем глуше и тише ее незабвенные отзвуки. А дьяволы вечного отчаяния, ждущие добычу, все растут и растут впереди — и вырастают, как столетние дубы, и язвительный хохот их переходит в раскаты грома.

Да! Я был близок к мысли, что гром — хохот дьявола в эту ночь, когда тучи черной медвежьей шкурой лежали над Римом, ливень хлестал Палатин и Капитолий, а Тибр вздувался в оковах набережной, пытаюсь, как узник, вырваться на свободу и затопить Трастевере мутной волной.

Щели в ставнях вспыхивали голубыми огнями непрерывно струившихся молний. Я жмурил глаза. Я кутался в одеяло. Я прятал голову под подушки. Ничто не помогало: кто чувствует грозу, тому не надо видеть молнии, не надо слышать грома, чтобы страдать от нее.

Гроза затихла, но не прошла. Она висела в воздухе, как отдыхающая орлица. Ее дыхание отразило ночь — ночь, чернее Мамертинского подземелья и столько же полную призраков. О, тоска тьмы, напитанной электричеством! Ты хуже кошмара: ты смелее его. Кошмар, как вор, подкрадывается к сонному. Ты же — огромное привидение в траурной мантии — дерзко садишься на грудь человека в твердой памяти, со свободной волей и, положив на его горло тяжелые лапы, любишь, когда он, задыхаясь, бьется в своей постели, точно рыба на песке.

В такую-то минуту — о, Зоэ! — ты пролетела предо мною... во сне или наяву?

Яркий луч нес тебя сквозь мрак, ничего не озаряя в нем, кроме тебя. Ты сверкнула, подобно осеннему метеору, и полоса света, как на небе после метеора, долго лежала перед моими глазами твоим следом, медленно выцветая.

Ах! и сейчас я вижу тебя в этом луче: белую и прозрачную, точно фарфор, окутанную в голубой шелк венком серебряных колосьев на золотистом пепле волос, рассыпанных по

полудетским плечам. Вижу тебя такой, как очаровала ты впервые мое воображение. Ты — женщина севера, со стальными глазами! Ты дитя вечного горя и минутных торжеств!

Беломраморный зал сиял огнями. Ты пела. Тысячи глаз впивались в тебя. На красном сукне эстрады ты казалась светлым ангелом, слетевшим из рая в адский огонь, чтобы освежить каплей влаги запекшиеся уста грешника. Я не помню звуков, петых тобой. Что в них? Ты сама была живой симфонией молодой и богатой жизни, ты, как пташка, свободно и счастливо летела на крыльях торжественной гармонии, слагавшейся десятками инструментов, послушных жезлу седого капельмейстера.

И когда я снова увидел тебя такой, долго потом сидел впотьмах на своей одинокой кровати, полный воспоминаний и волнений. Зачем ты явилась мне сейчас? Зачем являешься вообще? Кто был я тебе, кто была ты мне, что теперь твое загробное дыхание веет в мою жизнь, и никогда струны моей души не звучат звонче и грустнее, чем если коснется

их твоя мертвая рука?

Мы редко видались, когда ты была жива. Мы не были друзьями. Больше: мы не любили друг друга. Правда: я любовался тобой, но вчуже, как любят картину, проникнутой духом могучей художественной силы.

Она дышала в тебе навстречу каждому и тянула к себе людей, как магнит железо. Казалось, богатство твоей души тяготило тебя самое. Демон, служащий чародею, если нет ему работы, начинает мучить самого чародея. Талант — тот же демон. Тебя волновала смутная жажда деятельности — могучей и великолепной. А я думал:

— Эта девушка — не знаю, чем будет, но способна быть всем, чем захочет. Но, на свое горе, она сама не знает, чем ей быть... и, быть может, никогда не узнает.

Ты знала, что я так думаю, и не любила меня именно за это. Я гордился твоей любовью: она выделяла меня из толпы поклонявшихся тебе друзей — рабов, которых ты и любила, и презирала.

Такова уже судьба человека: не уважать тех, кто любит нас слишком наивно, и не лю-

бить тех, кто понимает нас слишком хорошо. Потому что, раз человек понял другого, между ними нет уже места поклонению; они осуждены на равенство, ненавистное гордому духу. Женскому — в особенности. Женщина должна быть или рабой, или царицей; в равенстве ей скучно и душно.

Наши встречи и беседы — дружеские на вид — были полны тайного недоброжелательства, заметного лишь для нас двоих. Наши шутки были слишком злы. Мы любили ловить друг друга на неловком слове, неловком обороте речи, на каждой недомолвке, каждой непоследовательности.

За глаза и в глаза мы трунили друг над другом, стараясь нанести как можно больше ударов и моему, и твоему самолюбию, и чтобы удары попадали как можно больнее и глубже. А самолюбия были огромны...

Часто наблюдал я, как твой взор — глубокий взор сероглазой королевы эльфов: мечтательный и властный, туманный и повелительный, — неподвижно застывал где-то вдали, на воображаемой точке, видной тебе одной. И мне хотелось спросить:

— Какой трон рисует вам гордый полет воображения? Какого сказочного принца, чтобы взвести вас на этот трон?

Пришел и принц. Ты полюбила и стала женой любимого человека. Я равнодушно приветствовал твое молодое счастье... короткое, жалкое счастье нескольких дней.

Королева фей! Ты на сцену смотрела как на жизнь, а на жизнь, как на сцену... Когда спектакль любви кончился, когда упали пестро раскрашенные кулисы, когда очаровательный театральный принц снял с лица румяна и белила, а с плеч мишурный кафтан, — ты растерялась... смутилась... ужаснулась.

Вся юность твоя была поэтическим самообманом величия и красоты. И все рухнуло. Нет ни трона, ни принца, — есть красавец-муж в толстом пиджаке и широких штанах, который больше всего на свете боится, как бы твои фантазии не перешли в истерику.

Ты, как статуя, жила в пьедестале: гордой, уединенной богиней, выше мира и людей. Женщина одиночества отдалась человеку толпы. Жизнь звала. Пришлось сойти с пьедестала и смешаться с толпой. Ты оказалась в

ней чужой, как голубка в стае черных воронов: робка, странна, неумна, неловка... всегда жалка, иногда смешна.

Сказки севера передали нам образы лебединых жен, которые увлекались любовью к смертным богатырям; тогда оставляла их сверхъестественная сила и, прикованные к заботам земли, влача вялую жизнь жены-рабыни, они изнемогали в мятежной тоске по голубому небу и плавающим в его просторе сестрам облакам. И, если не отрастали вновь их обрубленные лебединые крылья, они хирели, чахли, умирали, как зачахла и умерла ты, обманутая самой собой и людьми, с ненавистью к земле и без надежды на небо.

Бежали годы. Я встречал тебя чаще, чем прежде, раз от раза все более и более отцветающей; ты умирала телом, угасала душой. Твоя красота разрушилась. Твой талант увял. Неверующим глазом смотрела ты вперед. А когда озиралась на пройденный тобой путь, — о, какой язвительной тоской звучали твои холодные металлические речи! То был хохот трагического демона иронии, вселенного в тебя отчаянием. Его острый, угрожающий

взгляд сверкал в суровом блеске твоих, точно оледенелых, глаз. Ты старательно избегала встречаться с моим взором, потому что знала, как ясно я читаю в душе твоей последнюю радость: скорее бы умереть!.. — и тебе не надо было чужого участия.

Ты умерла. Я не имел духа взглянуть на тебя в гробу — обезображенную смертью. Я счастлив этим: иначе твое имя подсказывало бы теперь моей памяти не светлый голубой образ, мелькнувший передо мной в луче ночной молнии, но раздутый труп — отвратительный сарказм смерти и разложения.

Друзья несли на плечах к могиле твой обвитый венками, сверкающий белой парчой гроб и забросали его мокрой глиной. Монахи пели тебе вечную память, однако все тебя скоро забыли... все, — и я, быть может, скорее других.

Но однажды зеленой весной, когда в окна моего кабинета задумчиво глядела таинственная луна, а я, сидя верхом на подоконнике открытого настежь окна, слушал мерный шум засыпающего города, какой-то звук в этом шуме внятно сказал мне:

— Зоэ!

И вдруг мне стало безмерно жаль твоей погибшей жизни, и стыдно! стыдно!! непонятно стыдно!!! что я забыл тебя... Я долго рассматривал твой портрет. На нем лежало яркое лунное пятно. Мне казалось, что ты улыбаешься длинной, печальной улыбкой — важной улыбкой смерти над бесполезным сном жизни. О, бедная, бедная! Прекрасная, как цветок, увядшая, как цветок, и, как цветок, забвенная — цветок без завязи, не оставивший по себе ни плода, ни следа... Пустоцвет!..

Как горько звучит это опошленное слово, когда звучит оно про тебя!

Жалость росла, глаза были мокры, я впервые понял, что мы с тобой были друзьями больше, чем думали. Но ведь это была одна минута, только одна чувствительная минута, прогнанная стаканом вина за ужином и крепким семичасовым сном...

Но зачем потом... через неделю, может быть, через две недели — не помню... потянуло меня в монастырь, где мы тебя зарыли в землю? Я удивился, как хорошо там. Падал вечер; белое море цветущих яблонь и вишенъ

монастырского сада, что позади кладбища, стало розовым. Колокол — маленький будничный колокол — медленно звякал, призывая братию ко всенощной... и, когда отзвякал, грустный, дребезжащий звук долго тянулся и умирал в трепещущем воздухе. Я смотрел на твой черный мраморный крест, на дерн, которым затянуло твою могилу, и думал: это потому он такой зеленый и сочный, что она напитала его своим телом... На кресте налипли лепестки яблоневого цвета... По заре тянуло тонким холодком, и дух яблонь тихой струей колыхался над могилами... Я, как всегда, не верил в смерть и мертвецов и чувствовал, что я — живой с живыми, хоть и незримыми. И ты, Зоэ, была тогда там! Была, разлитая в благоухании цветов, в розовом трепете вечера, в плаче отзвучавшего колокола...

Я помню раскаленную зноем синеву неба и силуэты ломбардского городка, прилепленного к скалам... Когда у маленькой проходной станции на минуту замер грохот нашего поезда, высоко над нами звонили к Agnus Dei,[1] а в окно вагона пахло яблоневым духом, и мне захотелось думать о твоей могиле там, на

мутном севере, в ограде старого монастыря.

— Pronti![2] — крикнул кондуктор.

Поезд рвался вперед. Но, когда он пробежал платформу, ты мелькнула от окна к окну моего купе! Я видел твою склоненную голову с развитым локоном на снежно-бледной щеке. Я едва не протянул руку, чтобы поймать порхнувший в окно дымчатый лоскут твоего длинного шарфа.

Была тоже странная ночь... Круглая и желтая луна щитом плыла мимо Колизея; с робкой поспешностью мигала под ней зеленая Вега. Амфитеатр наполовину сиял голубым светом, наполовину тонул в голубой мгле. Огромные, внимательные звезды глядели в его просветы. Я сидел на арене, спустив ноги в черную бездну развалин водомоя, и думал о сотнях тысяч людей, что до меня топтали эту пропитанную кровью арену. Думал о том испанском художнике, который прославился «Видением в Колизее», но — сдав картину на выставку сам был сдан в больницу для душевнобольных. Образы его картины безотвязно гнались за ним. Он видел белую девушку перед кровавой пастью голодного льва и видел,

как падала к ногам мученицы алая роза — последний привет неведомого друга. Он видел, как, вон из той зияющей черной дыры направо, выходил зарезанный в подземном ходе Коммод. Он слышал рык зверей, крутящих смерчи песка на арене. Тяжелый, неповоротливый германец падал перед его глазами, охваченный рыбачьей сетью ретиария, и умирал под острым трезубцем, при оглушительных воплях толпы. Боевые колесницы стаптывали тяжело вооруженных, едва в состоянии двигаться, людей, пересекали встречным лошадям ноги косами, укрепленными в осях колес. А там, вверху, на уступах этого здания-горы, десятки тысяч злорадно внимательных глаз впились — не оторвутся от длинной цепи меченосцев, строгим воинским строем движущихся вокруг арены. Вот, по команде магистра, враз брякнуло их оружие, две сотни голосов враз рявкнули и оборвали по-солдатски последнее приветствие... «Ave, Caesar imperator, moriturite salutant!...»[3]

Я думал об этих красивых снах, но тщетно напрягал свое воображение, чтобы вызнать их из темных пещер Колизея: старые мертве-

цы крепко спали. Однако... я чувствовал, что недалеко от меня живет и волнуется другое существо: пришло нежданное и незванное... стоит, ходит, реет, веет, — не знаю, как сказать, что о нем подумать, — где-то близко-близко. Оно трепещется, как бабочка под сеткой, и дышит яблоневым цветом... И, смело глядя в угрюмые галереи цирка-призрака, я избегал взором лишь одного косого выступа налево, где играла узенькая полоска лунного света. Я знал, что эта полоска — ты, Зоэ! Что это ты повисла в воздухе струей светящегося тумана, качаясь на месячном луче...

Но там — на кладбище, в поезде, в Колизее — ты все-таки была скорее предчувствием, чем видением. Теперь же я видел тебя... Как? Я не знаю. Что ты? Я не понимаю. Сновидение? Призрак? Галлюцинация? Или, наконец, просто произвольное воспоминание зрения? Давнее впечатление твоей красоты спало в моем мозгу, забытое и неподвижное; неведомый толчок разбудил его, и оно воскресло, свежее, нарядное, полное блистающих красок, точно все это было только вчера!

Как бы то ни было: внешнее ли ты явля-

ние, или я вижу тебя только духовными глазами, внутри своего сознания, — все равно. Главное, что я тебя видел. И не смутился, не испугался, но был счастлив тем, что вижу. Я знаю: это было не в последний раз. Я чувствую: между мной, живым, и тобой, мертвой, внезапно установилась таинственная связь, которой никогда не проявиться бы, пока нас обоих одинаково грело земное солнце. Наши воли сроднились. Ты мне близка. Я хочу думать о тебе, хочу сладких и сильных волнений ожидания... хочу стоять на границе загадки, которую разгадать — и желанное, и болезненное счастье.

Я стараюсь вспомнить каждое слово, каждый жест твой во время наших былых встреч. О, как жаль, что их было так мало, что их не достает мне, когда я стараюсь дополнить воображением то, чего не подсказывает мне о тебе память. Я сочиняю тебя, как легенду, как миф, как бесплодную фантастическую поэму; ее звуки и аромат назойливо врываются в каждую минуту моей жизни. Ты стоишь рядом с каждой мыслью, возбуждаемой в моем уме. И знаешь ли... это странно... но мне на-

чинает представляться, будто это не теперь только, а и всегда так было... Только я этого не замечал...

Да! Не замечаешь воздуха, которым дышишь, не замечаешь закона тяжести, которым движется мир... Не замечаешь и великой духовной любви, которой власть узнаешь лишь тогда, когда ее фиал разбит, когда пролилось и в землю всосалось заключенное в нем вино...

Любовь!.. Страшное слово: сильнее смерти! Оно нечаянно сорвалось с моего языка... а ду- малось все время!.. Да неужели же его непременно надо здесь произнести?

Неужели... неужели я — твой равнодуш- ный, насмешливый полудруг, полувраг — в самом деле любил тебя, Зоэ?.. Любил — и не знал?!..

Примечания

Агнцу Божию (лат.).

[^^^]

Поторопитесь! (фр.).

[^^^]

3

Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя! (лат.).

[^^^]